

100-летие МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ

Annales de l'Institut International de Sociologie. Nouvelle serie. Vol.4. 1994.

XXXI Конгресс Международного института социологии (МИС) был посвящен столетию его основания и прошел в Сорбонне в июне 1993 года. Материалы конгресса стали доступны широкому читателю почти полтора года спустя. Обилие круглых дат (сто лет с момента выхода "Разделения общественного труда" Э.Дюркгейма и открытия социологического факультета в Чикаго) располагало и к подведению итогов, и к предсказаниям развития социологической науки, и к "выяснению отношений" с классиками. В сборнике получили отражение, казалось бы, несопоставимые темы. Однако в центре внимания — проблема взаимосвязи общественной науки и социально-исторического развития. Сквозь жаргоны, школы и парадигмы, которыми столь богата западная социология, прорисовывается противоречивый социальный мир.

В фокусе внимания участников конгресса оказались имена Р.Вормса и Э.Дюркгейма. Социологическое предприятие Р.Вормса, отца-основателя МИС и журнала "Revue Internationale de Sociologie", рассматривалось в докладах президента МИС У.д'Антонио (США) и В.Гепхарда. Они напомнили, что Рене Вормсу, доктору философии и права, было 24 года, когда он основал МИС. "Страстный приверженец социологии", он в то же время "был скорее техническим директором, чем социологом-исследователем, администратором par excellence" [p.5 — здесь и далее указываются страницы цитируемого тома]. Основным занятием Вормса была работа в Государственном совете Франции. Будучи обеспеченным человеком, он тем не менее искал опору и "легитимацию" в науке и рассматривал создание МИС как основу для диалога между влиятельными практиками (финансистами, промышленниками, политиками) и учеными. Только в 1903 году президентом МИС стал социолог — Лестер Уорд. До этого институт возглавляли вице-президент Лондонского королевского общества и член нижней палаты британского парламента, бывший австрийский министр, российский сенатор и будущий президент Чехии. Среди вице-президентов

института были экс-президенты Португалии, Франции и США. Социологи в ранние годы существования института составляли скромное меньшинство [p.4].

Программе Вормса, как и составу института, был свойственен плюрализм, что всегда было обычным делом для социологии [p. 12]. Сегодня социология превратилась в "своего рода архипелаг слабо связанных между собой островков специализаций" [p.9]. Однако программа института исходила из рассмотрения общества как единого организма и ориентировалась на изучение "социальной анатомии" и поиск методов "лечения", то есть решения "социального вопроса". Грандиозный международный проект диктовался не моральным долгом, на первом плане стояли требования просвещенности, культуры и вкуса [p.263-264].

Дюркгеймово предприятие, как и вормсовское, было подчинено не кабинетной логике развития дисциплины, но социальному заказу, выраженному в моральных терминах. Реконструкцию дюркгеймовской социологической программы (на материале "Разделения общественного труда") предпринял Х.Прадес. Его главный тезис: дифференциация является средством снятия конфликта между автономизацией индивида и необходимостью усиления социального контроля, но ее оборотная сторона — аномия, которую Прадес трактует как отсутствие органической солидарности. Разделение труда, обеспечивающее полную органическую солидарность, конституирует моральный долг, поскольку, не принижая личность, оно способствует утверждению идеала человеческого братства. Именно четкость и содержательность моральной программы Дюркгейма, восхищение которой выразил Х.Прадес, не помешали ее критике со стороны некоторых участников конгресса.

Э.Тириалян, указывая на мощные эвристические возможности программы (он

имел в виду множество сходных событий в конце XIX и в конце XX веков), отметил два процесса, которые не предвидел классик. Во-первых, это дедифференциация в половом разделении труда. Дюркгейм работал с материалом викторианской эпохи, когда мужчине "принадлежала" общественная сфера, женщине — домашняя. Размывание этой границы стало очевидным в послевоенные годы, когда для женщин открылись новые профессии, рабочие места и карьерные возможности. Во-вторых, это повсеместно наблюдаемый в последние годы частичный возврат к механической солидарности, или, в терминах Т.Парсонса, возврат от "достижений" и "универсализма" к "предписанию" и "партикуляризму".

Дело не ограничивается несогласованностью факта с теорией (в конце концов — тем хуже для факта). Проблема в том, что в этих явлениях имеются как негативные, так и позитивные стороны. Для акторов, находящихся в процессе изменения социетальных идентификаций, возврат к механической солидарности может означать укрепление достоинства и облагораживание того, что ранее считалось низким. Этот возврат может породить в качестве побочного продукта обновление коллективных ресурсов первичных групп — тендерных, соседских, расовых, этнических. В то же время принижается роль широкого сообщества и укрепляются ограничения для участия в "национальной солидарности" [р.76-77].

М.Маффесоли пошел дальше. Опираясь на более поздние антропологические и исторические исследования традиционных обществ, он предложил поставить классическое различие механической и органической солидарностей "с ног на голову" [р.25-26]. По его мнению, функциональная органичность свойственна традиционным обществам, тогда как в "экономических обществах" доминирует атомизация — в человеческих отношениях господствует расчет, что как раз можно отнести к механицизму. Органическая солидарность возможна постольку, поскольку индивидуальная личность теряется и растворяется в коллективном организме, а механическая солидарность зависит от "доброй воли" типичной личности. Причину заблуждения Дюркгейма автор видит в том, что традиционный органицизм мог шокировать его своей нерациональностью.

Ф.Феррароти изложил свою версию: классик социологии не учел разницы между функциональным разделением труда в свободных профессиях и у рабочих на фабрике. В первом случае каждый сознательно, вместе с другими делает свой вклад, представляя в то же время проект в целом. Во втором случае отдельные операции приходится выполнять под внешним безличным принуждением, что порождает отчуждение и дегуманизацию [р.67].

Наиболее фундаментальная критика Дюркгейма содержалась в докладе Н.Лумана. В своем исходном тезисе он "заставил" Дюркгейма, ссылаясь на первую страницу предисловия к первому изданию "Разделения общественного труда", не только решать вопрос о соотношении научно установленных закономерностей и свободы воли, но и сделать выбор в пользу науки [р.37-38] (что текстуально не подтверждается). Возможно, основной целью автора было подтверждение собственной теории, которая интерпретирует эволюцию сложных обществ как процесс функциональной дифференциации полей значений, относящихся к любви (межличностные и семейные отношения), деньгам (экономика и труд), истине (философия и наука), праву (нормативные институты) и власти (политические отношения). Этот процесс порождает увеличивающийся разрыв между уровнем социальной организации, для которого характерно движение к абстрактной коммуникации, и уровнем непосредственного взаимодействия между индивидами с помощью физического восприятия [р.250].

Фактически критика Лумана направлена на попытку Дюркгейма опереться на мораль при формировании научной программы: дюркгеймовское "faire la science de la morale" Луман, по-видимому, трактует как "сделать науку из морали". Проблема заключается не в том, чтобы отличать "науку" о морали от метафизических и

трансцендентальных утверждений (проводить междисциплинарные границы), а принципиально разграничивать сферу теории от практики и нравственности. Моральную проблему нельзя решить ни логикой, ни каким-либо иным методом, ибо всякое решение сняло бы проблему и положило конец моральной коммуникации. Однако общество нуждается в постоянном обновлении последней. Есть еще два контраргумента. Во-первых (что соответствует теории Лумана), сфера морали (как и всякое другое поле) вынуждена идти на самоограничение и отказаться от полного "суверенитета" (трансцендентальности) ради собственной автономии: при отсутствии (взаимо)зависимости от научной истинности, интересов собственности и политической власти — то есть при совмещении полей — чиновник при должности будет всегда морально выше простого гражданина. Во-вторых, в настоящее время более (чем сто лет назад) очевидна "полемогенная" природа моральной коммуникации [p.41-44].

Выступление А.Этциони было посвящено борьбе народов за самоопределение, которая на протяжении более 200 лет имела принципиально важное историческое значение и сегодня, считает Этциони, исчерпала свою легитимность. Стремление к самоопределению внутри старых империй диктовалось не столько желанием выделиться по национальному признаку *per se*, сколько необходимостью иметь более ответственное и эффективное правительство. За редким исключением в современных демократических обществах есть все возможности для сохранения национальной самобытности, и распад страны, как показывает опыт, приводит к менее демократическим режимам по отношению к своим гражданам и более агрессивным — к чужим [p. 163-175].

Ряд выступлений был посвящен обсуждению черт современной эпохи с точки зрения "модерна" и "постмодерна". А.Турен сконцентрировал свое внимание на усиливающемся разрыве между практической деятельностью и культурой, между внешним миром объективности и той духовной работой, благодаря которой индивид становится субъектом деятельности.

"Бывают периоды, когда общество (ансамбль обществ) функционирует, опираясь на одну доминирующую ценность, В другие периоды кажется, что общество держится на конкуренции различных, исключаящих друг друга ценностей, — отметил М.Мафессоли. — В первом случае это — моменты активного завоевания, которым необходима какая-нибудь унифицированная идеология, какой-нибудь корпус дающих непосредственный результат доктрин; в эти периоды интеллектуальное предпочтение отдается понятию. Для периодов второго рода характерны большая расслабленность и пассивность; акцент переносится с распространения вширь на более интенсивную разработку сузившегося пространства, на углубление отношений, отчего появляется возможность для функционирования разнообразных ценностей" [p.22], В этом описании может показаться неожиданным сочетание интенсивности и пассивности. Парадокс теряет в своей загадочности, если обратиться к постулату о преобладании социетального (группового) над индивидуальным, который, по М.Мафессоли, касается не ценностного (содержательного) компонента, а формального. Требование к дисциплине проникнуть в логику повседневности, посвятить себя "зиммелевскому" анализу и схватывать нарождающиеся социг альные формы [p.21] представляется логичным, поскольку с разрушением унифицированных ценностей в процессе социальных интеракций начинает преобладать формальный аспект. Интенсивность и пассивность, таким образом, относятся к разным измерениям признакового пространства.

К.Монгардини предпринял попытку реконструировать современный культурный контекст. По его мнению, в "post-modernity" угадываются очертания нового проекта по созданию культуры с особыми характеристиками, которые позволили бы обеспечить эффективный контроль в сверхусложненном и перегруженном впечатлениями социальном мире посредством "синтезирования" так называемого протяженного будущего, которое отменяет прошлое и будущее и, таким образом, снимает "избыточные" культурные горизонты.

На страницах "Анналов" представлен также ряд проектов улучшения и развития социологической дисциплины. Э.Морен высказал точку зрения, что обособление социологии в самостоятельную дисциплину привело к интеллектуальному обнищанию социолога, не ведающего философской рефлексии, не способного поместить свои данные в широкий исторический контекст. Он обозначил направления реформы социологической мысли, Во-первых, Морен говорил о приведении социологической эпистемологии в соответствие с современным развитием науки; отказе от механистического детерминизма в пользу диалогической модели дополняющих друг друга порядка и беспорядка; замене альтернативы "редукционизм-холизм" на системно-интеграционный подход со сложными взаимоотношениями между частями и целым; признании рекурсивной каузальности между индивидом и обществом, между сферами политики, экономики, демографии, культуры и т.д. Этим задачам соответствует и метод интеграции вырабатывающего концепты наблюдателя (социолога) в его наблюдение и его концепцию. Во-вторых, Морен настаивает на признании "незавершенной" научности дисциплины и допущении альтернативных ("ненаучных") способов познания (субъективности), соединяющих объяснение и понимание; открытости социологической мысли для литературы, особенно классического романа XIX века, который обнаружил такое знание жизни, какого не найти в социологических анкетах и трудах. Здесь очень важна мысль, что роман через конкретное и единичное показывает общее. Соответствующее изменение претерпевает и статус социолога, который выступает отчасти как ученый, а отчасти как автор-эссеист с личным стилем письма, рожденным из личной вовлеченности в интеллектуально рискованное мероприятие, направленное на интерпретацию проблем общества [р.30-33]. Нетрудно заметить, что на первый план выдвигается функция социолога как коммуникатора, а известная со школьной скамьи метафора "колокола на башне вечевой" может навести на воспоминания о более радикальных отечественных проектах создания цеха "инженеров человеческих душ", который с опорой на науку (марксизм) должен был не только тематизировать проблемы общества, но и создавать атмосферу для их соответствующего практического решения.

Свой проект развития социологии на следующие сто лет представил А.Хедли. Следуя прагматической стратегии достижения успеха и консенсуса, он полагает, что в настоящее время широкий консенсус невозможен ввиду добавившихся к методологическому плюрализму (с увяданием проекта *modernity*) "локальных эпистемологии — множественности целей и представлений о том, что такое успех [р.119]. Стержнем, вокруг которого должно происходить единение крайне диверсифицированной дисциплины должна стать значимость проблематики. По мнению Хедли, все важные "отклонения" от столбового развития дисциплины — от теорий среднего уровня до феминистских концепций — внесли свой вклад в, объяснение социального поведения, поэтому он призывает быть начеку перед теми "локальными эпистемологиями", которые отказываются рассматривать ключевые проблемы и, таким образом, лишают консенсус по поводу успеха последних "жестких" опор. С помощью контент-анализа двух американских

и двух британских социологических журналов иллюстрируется идея, что изменения в обществе ведут к соответствующему смещению в фокусе социальных исследований. Например, около ста лет назад появились первые эмпирические базы данных о влиянии индустриализации на локальные сообщества. Позднее нации превратились в массовые общества с общенациональными рынками, фирмами, *mass-media*, и акцент сместился с изучения социальных систем в сторону отдельного индивида. Вслед за дальнейшим процессом глобализации Хедли предсказывает появление в XXI веке новых глобальных теорий, для которых будут характерны "композитные стратегии".

У.Форм, рассматривая процессы глобализации в социальной реальности, затронул проблему (не)возможности практического использования данных в социальном

планировании, в частности, контроле социальной стратификации. Несмотря на многочисленные исторические и социологические исследования, социологи не добились больших успехов в предсказании стратификационных изменений, поскольку объект исследования почти всегда ограничен рамками государств, а современное государство оказалось не в состоянии контролировать все силы, которые влияют на стратификацию: потоки капитала, миграцию рабочей силы, товаров, услуг, денег, культурных ценностей. Поэтому социологи должны изучать истоки экономического, политического и статусного неравенства в большем и/или меньшем масштабах, нежели национальное государство [р. 193-199].

С.Джинер высказал убеждение в том, что влияние социологического мышления обнаруживается во всех сферах практической деятельности общества — в политике, хозяйственной жизни, искусстве и даже в беседе домохозяек. Однако, несмотря на свое триумфальное шествие, победа социологии сомнительна. Причина неудовлетворенности практическими результатами социологии кроется не в ее несостоятельности, а в ее победе, в ее притягательности для непосвященных, которые не просто размывают ее границы, но порой и прямо дискредитируют,

На заседаниях конгресса выступили десятки специалистов практически из всех стран мира. Академик Т.И.Заславская посвятила свое выступление социальным проблемам современного российского общества. В целом конгресс продемонстрировал высокий престиж Международного института социологии, который оказывает существенное влияние на развитие дисциплины.

О.А. ОБЕРЕМКО кандидат социологических наук

А. Турен

НОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ КРИТИКИ МОДЕРНА

Эпоха современности была заложена тогда, когда Декарт — далеко не в первый раз в истории человеческой мысли, но с необычайной силой — произвел разделение на познаваемые и преобразуемые наукой *res extensa* и *res cogitans* (вещь протяженную и вещь познаваемую). Последняя, обогащаясь данными эмпирического опыта, остается верной своим сугубо христианским корням — ведь она является не чем иным, как субъектом, то есть той работой, которую производит индивид, чтобы самореализоваться в качестве актора.

Я хотел бы вновь вернуться к этой теме, придав ей при этом более заостренный характер, который лучше, на мой взгляд, соответствует переменчивым реалиям раздираемого на части мира. Ведь мы не живем более в золотом веке современности, когда науки и искусства, с одной стороны, подчищали недостатки природы, а общественное мнение и социальные движения распространяли идеи свободы личности.

Интеллект, приобретая инструментально-прикладной характер, преобразовался в фундамент власти, и не важно, что эта власть выступала не в виде скипетра в руке монарха, а как безличная логика бизнеса и техники. С другой стороны, культура и живой мир, *Lebenswelt*, потрясенные торговыми и военными кризисами, превратились в идентифицирующие и объединяющие политические схемы, в искусственное и репрессивное образование, находящее свое выражение в абсолютной власти тоталитарного вождя, провозглашающего себя слугой Бога, нации или племени. Дистанция между мирами инструментальности и идентичности увеличивалась все более и более по мере их обоюдного вырождения во властные системы агрессивного и репрессивного толка.

Всеобщий энтузиазм, следствие падения берлинской стены, породил в обществе наивную и горделивую уверенность в скором установлении всеобщего порядка, общемировой модели, основывающейся на рыночной экономике, политических свободах и национально-культурной терпимости. Но мир и не думал объединяться. Напротив, все углубляются различия между континентами; в большинстве стран все увеличивается разрыв между богатыми и бедными, центром и провинциями. И в основе каждого человека глубочайшим образом сталкиваются тенденции инструментальности и идентичности, отчего даже инженеры-кибернетики уходят в религиозные секты. Сегодня мы являемся свидетелями упадка и разложения того, что ранее объединяло инструментальность и идентичность в человеке, — крушения национального государства. Основанное на понятии гражданской принадлежности, то есть на общности систем законодательной и распределительной, на общности языка и самосознания, сегодня в Европе и других регионах мира оно рушится буквально на наших глазах. При этом происходит столкновение социального и национального, императивов мирового рынка и понятий национальной идентичности; обе стороны, чувствуя угрозу самому факту своего существования, становятся все более взаимно агрессивными. Этнизация политической жизни является реакцией на происходящую общемировую экономическую интеграцию. Везде, во всех сферах, зачастую вплоть до конфликта, сталкиваются мир человеческой субъективности и реальность. Их взаимное расхождение определяет двойственный характер общества — то, что впервые было изучено на примере Латинской Америки, но для Севера характерно не в меньшей мере, чем для Юга.

Однако недостаточно только звать к необходимости творческого слияния рациональности и субъективности. Нужно задаться тревожным вопросом относительно того, что может остановить этот разрыв — разрыв достаточно мощный для создания того, что Клод Леви-Стросс называл "горячими обществами" и приобретающий столь деструктивный характер при разрушении связи между мирами рациональности и субъективности. То, что я определяю как предмет исследования — это усилия, работа, направленные на попытку воссоединить разрозненное целое, сблизить и ввести во взаимный контакт ставшие чужими и агрессивными две половинки каждого индивида, каждого общества, мира в целом.

Это воздействие должно осуществляться одновременно в отношении универсумов объективности и субъективизма, против господства как человеческой инструментальности, так и идентичности. В обоих случаях есть два направления воздействия. В борьбе против засилья инструментальности и экономизма необходимо одновременно апеллировать к разуму, как это делал Сахаров, и — подобно Солженицыну — к общинному духу. С другой стороны, противостоя диктатуре идентичности, необходимо воззвать к рассудку, памятуя о тех пакистанских и египетских рабочих, инженерах, которых не смогли прельстить и отвлечь от преимуществ мирового нефтяного рынка лозунги мусульманских фундаменталистов. Но при этом необходима также и апелляция к традиционной культуре. Личность формируется в процессе внутренней интеграции разума и культуры, инструментальности и идентичности.

В современной Европе типичным примером для исследуемой нами темы является фигура иммигранта. Большинство наблюдателей акцентируют внимание на дистанции — по их мнению, непреодолимой — разделяющей процесс участия иммигранта в функционировании экономики, общества инструментального типа и защите им собственной культурной идентичности. Между тем заботой реального иммигранта является лавирование между Харибдой ассимиляции, лишаящей его культурной идентичности, превращающей в пассивное и зависимое существо, и Сциллой культурной ностальгии, подталкивающей его к полному уходу от реалий общества, в котором он живет. Прежде чем брать на себя смелость рекомендовать интеграционные подходы,

нужно всерьез желать, чтобы иммигрант обладал максимально высокой ориентацией на возможную мобильность. Ориентация на мобильность есть производная от интеграции культурного наследия и экономических моделей поведения; и эта интеграция превращает иммигранта в реального актора, именно она позволяет осуществить его конструктивное включение в то общество, в которое он привносит элемент своей духовной автономии, основанной на собственной культуре, системе социальных отношений и даже на характере внутрисемейных связей. Конфликт, возникающий в такой ситуации между исходной средой и проникающим в нее новым элементом, приобретает позитивный характер, становится базой не столько интеграционного, сколько трансформирующего общества процесса.

В течение длительного времени мы полагали, что индивидуальность формируется в процессе социализации, что интериоризация законов, усвоение дисциплин школьного и семейного воспитания задают ребенку необходимые рамки самореализации. Осознание порядка вызывало к жизни и изменения. Но эта тождественность человека и гражданина — основа французской и американской Деклараций о правах человека — ныне рассеялась, как дым. Каналы социализации действуют все слабее по мере распространения в обществе моральной терпимости, устраняющей не только нормативный характер транслируемых ценностей, но и сам процесс социализации. С тех пор, как началось разъединение индивидуальной жизни и жизни социальной, первая стала определяться принципом личного удовольствия, а вторая — принципом эффективности. Последнее означало, что индивид сам задавал свою способность к действию, стремясь не столько к социальной интеграции, сколько к возможности быть хозяином собственной жизни и окружающего мира. Жизненная самореализация предполагает возможность соединения в единой личности индивидуальных и коллективных представлений с ролями, реализуемыми в процессах производства и обмена.

Вот уже достаточно долго мы говорим об "обществе толпы". Как данность надо принять то обстоятельство, что это общество не может быть отрегулировано в сторону большей стабильности при помощи малой группы как посредника между индивидом и обществом в целом. Ведь именно эти группы и воспроизводят феномены контркультуры, увеличивающие, вплоть до конфликтной ситуации, дистанцию между личностью и экономической, административной организацией общества. Стабильным может быть лишь общество, способное к сочетанию в его членах черт консерватизма и

инициативы, свободы и ответственности, то есть общество личностей.

Субъект освобождается от внешней власти и создает свое поле свободы, но поступать подобным образом он может, лишь прибегая к тому, что мы обозначим как "воссоздание мира", то есть через слияние идентичности и инструментальности. Современный западный мир пошел по противоположному пути — пути не воссоздания, а разложения, превращая в *tabula rasa* верования и традиции. Он создал элиту изобретателей, капиталистов, юристов, политических деятелей, завоевателей — людей, свободных от всех социальных, культурных, эмоциональных связей, почитающих в этом мире лишь свой *Beruf*¹, и подчинил им все слои, не вписавшиеся в непосредственную сферу деятельности рассудка: женщин, детей, рабочих и крестьян, колонизированные народы. И армии Рационализма вывернули наизнанку очарованный грядущими перспективами мир, заполонив его техникой и технологиями. Сегодня победы этих цивилизаторов обходятся гораздо более дорогой ценой, чем ранее, и вызывают протест не только в подчиненных слоях, но и внутри привилегированного мира "господ", к которому традиционно относятся белые мужчины совершеннолетнего возраста и высокого уровня образования. Необходимо порвать с традицией этой всепобеждающей и насильно навязываемой модернизации, чтобы воссоздать целостный мир, воссоединить разрозненное или хотя бы уменьшить сложившуюся на базе традиционных представлений дистанцию между прошлым и будущим, мужчиной и женщиной, Севером и Югом.

Перспектива воссоздания мира, реконструкции личности вовсе не всеми воспринимается как нечто необходимое и возможное. Назовем "постмодернистами" тех, кто готов согласиться с разведением в разные стороны культуры и инструментальности. Идеи постмодернизма представляют собой завершение длительного предшествовавшего периода — периода разделения на два мира: "практического", определяемого коммерцией, инструментализмом, военными завоеваниями, и мира символики, культуры, идей. В течение длительного времени, вплоть до наших дней, все интеллектуалы были модернистами. Они защищали разум от воздействия традиции и боролись против олигархий и монархий, опираясь на политические силы, выступавшие от имени народа и прогресса. Этот прогрессистский рационализм уже умер или в значительной мере ослабел; во всяком случае, он избавил нас от слепого доверия к постреволюционным элитам, свергавшим предшествовавшие режимы и обещавшим раскрыть перед человечеством на основе развития производительных сил новые светлые дали. В то время как многие интеллектуалы высказывали явное расположение в адрес тоталитарных движений и режимов, общественное мнение, шокированное революционной практикой, переориентировалось в середине 70-х годов в сторону общества потребления, конкуренции и экономической эффективности. Это было тем расхождением, которое заставило всех говорить о "молчании интеллектуалов", что отражало более глубокую тенденцию: мир экономических циклов, частного предпринимательства раскололся на две части — на экономику и культуру, на политическую и социальную сферы деятельности. И между этими двумя составляющими пролегла таинственная и угрожающая пустыня.

Главной жертвой этого раскола явилась теория марксизма, которая в большей степени, чем какая-либо иная, основывалась на тезисе о прямой связи между ситуацией и действием. Это можно проследить по основополагающему термину марксизма, понятию класса, в котором слились одновременно и ситуация и действие, "класс в себе" и "класс для себя".

Марксизм-ленинизм рухнул, и по мере того, как, с одной стороны, модернизаторы постмарксистской эпохи все более и более погружались в логику исключительно экономической деятельности, поколение революционеров постепенно вытеснялось националистами и фундаменталистами. И в промежутке между этими двумя силами

совершенно не оставалось места для интеллектуальной критики и коллективного действия.

Постмодернизм был порожден разрушением марксизма и радикализацией

¹ Профессиональное призвание. — *Прим.пер.*

критической мысли "гошистской" ориентации, которая полностью уничтожала всякую связь между историей и культурой. Разложение историцизма привело, с одной стороны, к господству рыночного сознания: идеи рынка вытеснили идеи индустриального общества, в то время, как с другой стороны, универсум культуры, который не рассматривался более как какая бы то ни было суперструктура и не мог интегрироваться в инфраструктуру производительных сил, был лишен всякого исторического значения. В этой ситуации культуре оставалось либо комбинировать по собственному произволу духовное наследие предшествовавших цивилизаций, либо, с более последовательных позиций, включаться в уже описанное мною выше переустройство мира.

Социальные науки живут теми же проблемами, что и изучаемое ими общество. Они могут полностью замкнуться на исследовании действия инструменталистского толка, основанного на идеях рационального выбора. Или же, напротив, могут погрузиться в создание социологии человеческой идентичности, основанной на посылах политически корректного поликультурализма. Но они могут также, уклоняясь от этих двух крайностей, неприемлемых в силу их взаимоисключающего характера, ставящего под вопрос саму возможность адекватного отражения социальной реальности, более или менее сознательно начать превращаться в социологию личности, то есть в социологию действия, предпринимаемого индивидами и группами в целях сближения этих двух сторон человеческого опыта — инструментальности и идентичности, которые не могут быть ни в полной мере воссоединены, ни полностью изолированы друг от друга.

Сегодня социология далека от желаемого состояния — объединения понятий личности и социальной структуры. Некоторые из нас изучают безличностные структуры; другие — лишь акторов вне структур. Необходимо, чтобы все большее и большее число социологов стало задаваться вопросом: может ли чувство, эмоция обогатить знак и при каких условиях возможно социальное действие? В противном случае придется смиряться с мыслью о существовании в мире, в котором отсутствуют как акторы, так и структуры; и социология будет обречена бесцельно блуждать, подобно пьяному кораблю Рембо, по волнам Истории.

С. Джинер

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Можно говорить о трех различных социологиях. Первая — это наука об обществе. С момента своего рождения она несомненно продвинулась вперед, хотя скромно и не во всех отношениях одинаково ровно. Это — эмпирическая и аналитическая дисциплина, которая, несмотря на некоторое сопротивление и замалчивание, по праву завоевала себе место в мире высшего образования.

Второй вид социологии является частью морально-политической теории; ее границы с другими отраслями, включая художественную литературу и критику, далеко не ясны. Их сферы часто пересекаются. Своими корнями вторая социология уходит в эмпирическую социологию, но не ограничивается ею, хотя, в принципе, ей надлежит никогда не противоречить данным последней. Сам факт существования этой "социологической социальной теории" — если позволено будет употребить столь неуклюжий термин — может в конце концов подтвердить правоту (хотя в очень ограниченных рамках) тех, кто некогда провозгласил за социологией роль интеллектуального гегемона нашего времени. Непредвзятая оценка доминирующих подходов в социальной мысли последних двух веков, и даже начиная с Монтескье, показывает, что социологическое понимание человеческого мира неуклонно растет и завоевывает все более широкое пространство как внутри западной культуры, так и в культурах, переживающих некоторую степень "вестернизации", "Социологическая социальная теория" не должна быть "великой теорией", она может быть ограниченной по охвату, а кроме того, осторожной, гипотетической и subtilной. По существу, в социологии находит себе обоснование морально-политическая философия. Существование последней нам необходимо, поскольку одна наука, говорил Вебер, не может придать миру смысл. Теперь, когда боги ушли, у нас нет иных средств для отыскания ответов на критические вопросы о смысле мира, кроме нашей способности к рефлексии и спекуляции. Представляется, что социологическая теория как-то может усилить эту способность.

Третий вид социологии — популярная социология. Она питается двумя первыми. Ее культурное и политическое значение трудно переоценить, хотя ее когнитивный статус с точки зрения строгой логики и эпистемологии более чем сомнителен. Некоторые пуристы даже отказывают ей в названии "социология". Она являет себя в разных формах. В худшем случае принимает форму катехизиса для объяснения социального мира, основанного на определенной доктринальной интерпретации, отдаленно напоминающей социологическую со скудным обращением к фактам. В лучшем случае она описывает факты социальной жизни и освещает их для широкой аудитории как часть более широких тенденций и явлений. Иногда "третья социология" способствует обретению смыслов в демократическом, светском и свободном обществе. Она может даже сориентировать людей относительно природы их мира, социальных сил, которые стоят за их предпочтениями, или помочь занять гражданскую позицию, например, на выборах. Но еще чаще она становится врагом принципиальной и независимой мысли,

Эти три вида социологии в разной степени навязывают свой стиль, или способ мышления современному миру. Социология легитимирует социальную политику, образовательную реформу, стратегию продвижения на рынке, рекламу, форму и содержание массовой информации, тематику публично обсуждаемых проблем.

При всей громадности объемов выполняемых социологией работ по легитимации, явно упускается из вида анализ того, как изучаемый ею процесс сам стал искать себе обоснование в социологии. Социологические теории, гипотезы, утверждения и просто собранные и отсортированные данные часто находятся под воздействием популярных мнений, политических стереотипов, идеологических, экономических и других интересов. Однако обратный феномен, факт того, что популярные, политические и доктринальные интерпретации мира могут формироваться в значительной степени под влиянием

социологии, не привлекал большого внимания. Взаимоотношения между социологией и идеологией давно перестали быть улицей с односторонним движением, встречное движение открыто. Социология может часто испытывать вторжения со стороны идеологии, но и сама идеология социологизировалась. Политические, моралистические и религиозные проповеди переполнены сегодня социологическими "доводами" и "данными". Решения по общественно значимым и другим вопросам делаются на основе отчетов и рекомендаций социологов. Если "социальная реальность" и "общество" оказались последней инстанцией в секуляризованном обществе, то социология стала его пророком. Общество переживает своего рода апофеоз, а дисциплина, которая претендует на самое полное знание общества, греется в отраженных лучах славы этого апофеоза.

Нищета социологии проистекает от ее успеха в свете. Возможно, в этом заключается самый большой парадокс. Ее триумф в качестве питательной почвы для языка, на котором говорил модерн (modernity), превратил ее в банальность. Как и другие современные дисциплины, и сама естественная наука, социология обесценила сущности и растворила онтологии. Она свела вещи к явлениям, явления — к данным, а данные — к теням интерпретаций. И естественно, что социологическое знание использовалось для окончательного "расколдовывания" мира. В конце концов ни одна другая дисциплина не описывала с такой силой и упорством утрату иллюзий.

О социологии в единственном числе я говорил для большей ясности. Между тем она поделена на множество школ. Не утруждая себя даже показательным стремлением к идеалу единой науки, многие школы вообще не желают идти на контакт с другими. Но публике далеко до осознания этого, а служилый класс чиновников и предпринимателей, которые оплачивают наши услуги и используют результаты наших изысканий, имеет крайнюю склонность избегать наших внутренних разногласий, не говоря уже об их обсуждении. Им претит выбор между разными социологическими перспективами и принятие в расчет критики специалистов. Они ждут результатов и получают их от наших многочисленных коллег-позитивистов и некоторых утилитаристов. Позитивисты давным-давно проиграли философские и методологические битвы, но завоевали мир. И пусть их концепции погрязли в вульгарном функционализме, пусть они воспринимают реальность только в терминах факторов или комплексов факторов, и пусть они будут законченными релятивистами. Их берут нарасхват, как это и положено тем, кто слепо представляет тот *Zeitgeist*, для которого вся мудрость опирается на два столпа: факторный анализ и релятивизм.

То, что в конце концов эти столпы могут на поверку оказаться хрупкими, мы не обсуждаем. Символы новой универсальной веры — факторы и взаимосвязи между ними. Они внушают *homme moyen sensuel*² нашего времени, что думать и как действовать, хотя есть много свидетельств, что человек при этом глубоко несчастен и в нем есть стремления к "переколдованию" своего мира и возвращению к общинности (community), понимаемой не только этически, но и эстетически. Эти стремления не обязательно возвещают новый подъем иррационализма, но являют собой базовую потребность человеческой природы в атмосфере светскости и научности. А вот факторицизм и релятивизм, доведенные, как сейчас, до крайности, как раз выражают квинтэссенцию современной иррациональности. Адепты новой веры пришли, к чему стремились, с точностью до наоборот.

Необходимость некоторой дистанции между подлинной социологией и различными Ersatz-формами кажется неизбежной. Нет причин верить, что социология может избежать халтуры и профанации, имеющих место и в других дисциплинах, которые превосходят социологию и в области методологии, и в надежности результатов. Но проблема не в этом. Надо решить, нужна ли изоляция, есть ли смысл в устранении подлинной социологии от участия в более широком мире. Ответ на этот вопрос таков: социология, которая в свободном обществе не

² *Homme moyen sensuel* (франц.) — обыкновенный чувственный человек

только не выходит за границы своего дискурса на интеллектуальный рынок, но и не участвует в открытом обсуждении общественно значимых проблем, бессмысленна.

Социологию изобрели для открытия законов и закономерностей общества и одновременно как дисциплину, которая сможет сделать что-нибудь для человечества. Культивируя ее, основатели (и не только самые первые) имели моральные интенции. Они полагали, что наука об обществе и моральный взгляд на человека и природу "хорошего общества" не являются несовместимыми. Тщательное изучение истории социологии покажет, что — за редкими и, по всей видимости, маргинальными исключениями — и научные и моральные обязательства всегда в ней присутствовали, и не всегда составляли внутреннее напряжение, а, напротив, были необходимыми друг для друга компонентами социологической задачи во все времена. Это не означает, что социологии следует играть в наше время двойную роль: быть и естественной наукой об обществе, и основным источником нравственности. Обе цели недостижимы, а последняя и нежелательна. Социология должна, с одной стороны, стремиться к скрупулезному и ясному (насколько это возможно) пониманию природы социального мира и, с другой стороны, быть дисциплиной, показывающей людям варианты, из которых они могут сделать моральный выбор. Она должна обрисовать возможные последствия их поведения, но рассмотрение последствий должно исходить из представлений о том, в каком мире мы желаем жить сами и какой хотим оставить своим детям. Социология, которая не даром ест свой хлеб, исходит из долгосрочных перспектив, стремится к соблюдению универсальных интересов, к более широкому охвату и более сложным ситуациям. (Это стремление не является несовместимым с тем вниманием, которое социологи могут уделять конкретному, единичному, повседневному.) Сказанное резко контрастирует с той псевдосоциологией, которая завоевала себе успех в мире. Цели вульгарной социологии узко ориентированы на рынок, связаны с идеологией и краткосрочны.

КУЛЬТУРА НАСТОЯЩЕГО? ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ КО ВРЕМЕНИ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА

Время стало центральной институцией в эпоху модерна не только потому, что оно превратилось в инструмент измерения и нормирования процессов интеракции, но еще и потому, что изменилось его идеологическое использование, то есть изменилась манера осмысления и толкования временного измерения. Уроки прошлого и проекты будущего приобрели некоторую легковесность по сравнению с тем значением и весом, какие придаются настоящему, особенно в период позднего модерна. Настоящее стало привилегированной территорией нашей культуры, внутри ограды которой личность получает возможность фиксировать идентичность и опыт, делать реальность осмысленной.

Это изменение в культуре позднего модерна произошло не в результате появления новых ценностей, а по необходимости. Осознание сложности социальных отношений, участвовавших в производстве идеала современности, возросшие скорость и масштабы происходящих изменений привели к кризису традиционные инструменты контроля и освоения реальности, что составляет одну из фундаментальных человеческих потребностей. Идея Бога, законы природы, идеологические ценности утратили способность объяснять и придавать реальности однозначный смысл, способность фиксировать и оценивать индивида в обществе, определять значение индивидуального или коллективного действия. Мысленное самоограничение текущими формами жизни делает возможным новый тип культуры, которая освобождается от изменения, в особенности от его смысла, от любых форм неопределенности, которые индивид несет с собой по жизни и которые находят разрешение только посредством ценностей, от всякой переоценки и осмысления прошлого, от планирования будущего и его ценностей. Жизнь стала слишком сложной для эффективной интерпретации и контроля. Благодаря концентрации на настоящем моменте, исключению смыслов и ценностей, использования экономики как ценности, как инструмента сплочения общества и рационализации, появилась возможность обеспечить синтез и попытаться установить над ним контроль. Перед лицом разнообразия перекрещивающихся в пространстве и времени культур сохранение внутренней согласованности одной культуры и ее использование в качестве инструмента контроля над реальностью возможны только при возведении вокруг настоящего прочного частотола. Изгнать изменение можно, лишь оградив настоящий момент и исключив любые вопросы о его связи с предыдущим и о том, что общего у него со следующим моментом.

Происходящее в течение длительного периода ускорение времени постепенно разрушает контролирующую функцию культуры, которую можно поддерживать только в изоляции настоящего. Поэтому все, что ассоциируется с традицией, моральными нормами, идеологией, утопией, все, что предполагает непрерывность и внутреннюю согласованность во времени, сохраняется лишь в духовных компонентах предсуществующих форм культуры, ибо новая культура знает только одно расширенное настоящее и способна понять только то небольшое, что может вместить в себя нормальное восприятие настоящего.

Равнодушием, писал Зиммель, горожане реагируют на накопление требований, предъявляемых к ним интенсивной жизнью [1]. Оно позволяет им сохранить целостность и внутреннюю согласованность личности. Это же верно и для культуры настоящего. Равнодушие здесь связано не с пространством, а со временем. Концентрация на настоящем позволяет им сохранять инфраструктуру культуры и ее функцию»

Но люди не только объекты. Они желают быть также и субъектами, способными к контролю и освоению. Культура — тот инструмент, который дает им такую возможность.

В эпоху позднего модерна этот инструмент может заработать только при условии, если ценой громадных усилий удастся создать новую культуру для фиксации настоящего и переноса того значения, которое традиция придавала индивидуальному опыту, опыту накопленному, или *Erfahrung*, на *Erlebnis*, непосредственное переживание жизни. В огороженном настоящим доступен ограниченный диапазон переживаний, которого хватает лишь на то, чтобы конструировать "краткосрочную" идентичность и неустойчивую личность. В этом ограниченном диапазоне его покоится не на непрерывности и внутренней согласованности, а на возможностях, игре и приключении. Происходит замещение ценностей других культур. Реальность представляется не прямой линией, ведущей из прошлого в будущее, а полем возможностей, которые можно отыграть в пределах конкретного контекста, границей поиска индивидом своих настоящих условий, игрой в сортировку получаемой извне информации и впечатлений, цель которой — сделать возможным контроль над реальностью.

Здесь исключается все неясное и неопределенное, все, что сложно или трудно узнать, а следовательно, можно определить только через ценности. Рационализировать в рамках настоящего означает изгнать рождение и смерть, отложить в сторону святыни и религию, оставить идеологии и проекты социальных изменений. Для людей модерна рационализация настоящего может означать такую трансформацию индивидов в субъектов, при которой их можно было бы фиксировать через социальные роли и свести социальные отношения к объективированному обмену, важнейшими компонентами которого являются экономическая ценность и ее измерение.

И этот мир артефактов может существовать за счет трансформации прошлого и будущего в настоящее, хотя отсутствие исторической глубины делает эту новую культуру особенно уязвимой. На ее поверхности появляются элементы неопределенности, которые, — как раз потому, что их нелегко соотнести с непрерывностью ценностей и толкований и у них нет измерения в эволюции процессов, — приводят к разрушениям в "рационализированных" структурах. Из-под паутины этих структур, из которых выдавлено все, что не является экономикой и не поддается калькулированию, опять возникают ребенок и дикарь со своими страхами и агрессивностью. В магии и фетишизме вновь проявляется первобытность. Сводя себя к настоящему, модерн провозглашает собственную ограниченность и собственную слабость, хотя в этом ограничении есть свои прелести и есть на что опереться, чтобы придать повседневной жизни смысл и представить настоящее как само собой разумеющийся факт, не требующий обсуждения. Однако заключенное в настоящем его лишено горизонтов. Фактически будущее, которое является расширением настоящего и которое нельзя воспринимать как будущее [2], создает условие для возникновения тревожности, смысл которой нельзя почерпнуть из настоящего, что оборачивается погоней за изменением ради изменения: ценностью в себе. Заключенные в настоящем, индивиды не позволяют себе ограничиться какой-либо формой культуры и отчаянно ищут изменений, что порождает нестабильность и структурную несогласованность во всех формах культуры. Психологическое поле субъекта сужается, соединяющие людей узы в рационализованном обществе теряют глубину и становятся очень хрупкими, однако редукция его принимается как меньшее из зол по сравнению с утратой инструментов контроля и освоения реальности. И все-таки даже находясь в заточении настоящего, индивиды не перестают искать другое измерение, или, как сказал Музиль, "другое состояние", которое соответствует специфически человеческим требованиям к своему существованию как к жизни. Правда этот поиск ведется неосознанно, и ему свойствен тот род примитивизма, при котором исходят не из осмысления собственных условий, а из инстинкта, из ненаправленной реакции.

То, что мы называем культурой постмодерна и чему затрудняемся дать общее определение, возможно, лишь маскирует сложную реальность, составленную

конфликтующими переживаниями и тенденциями. С одной стороны, культура настоящего, которая освящает опыт позднего модерна и пытается ограничить и закрепить личность в рамках, где нет истории и развития; культура, которая парадоксально живет изменением, оставляя человеку возможность удовлетворить потребность в избегании всякой формы культуры и снять все то личностное напряжение и образчики нетерпимости, которые легко могли бы разрушить такую хрупкую культуру. Но это изменение лишь внешнее, ибо оно не затрагивает ценности, не имеет ни направления, ни смысла и сковано цепями настоящего. С другой стороны, в недрах отдельных культурных форм и экспериментов возникают такие сегменты, внешне мало между собой связанные, которые имеют общую склонность к переоценке пространственно-временного измерения жизни, к серьезной идеологической переоценке прошлого и традиций как первоосновы для восстановления и оправдания дифференциации в противовес глобализации культуры настоящего. Следовательно, постмодернизм по существу является своего рода идеологией, тогда как реальность представляет собой сложную панораму.

Самое время отметить, что узы, связывающие людей в общество, видоизменяются и что культура настоящего радикально изменила то, что объединяет и что разделяет в социальных отношениях. Например, память больше не объединяет людей — объединяет совместное переживание самого момента переживания. Зрители футбольного матча менее сплочены, чем коллективы, но однако же более значимы для социальной связи, чем те агрегаты, общность которых строится на каком-нибудь личностном переживании в прошлом. Сотворение социального времени больше не объединяет — объединяет совместное его проведение. Субъективация времени больше не объединяет — объединяют временные нормы и системы распорядка. Общности больше не формируются идеологией — они формируются образами: не историей, но телевидением. Ценность времени как абстрактный объективный факт подменяет смыслы жизни. Время — это средоточие возможностей, а не конструкция, подразумевающая какой-либо смысл: оно — контейнер, наполненный индивидуальными и коллективными действиями, а потому использование времени в повседневности есть единственный ключ к прочтению тех взаимоотношений, которые индивиды устанавливают со временем [3]. Историческим измерением настоящего является биография. Память перестает быть коллективной памятью, которая определяет ценности, обращаясь к воспоминаниям об общих переживаниях прошлого, но становится памятью социальной, собранием знаков, которые составляют коллективное наследие, доступное в изобилии каждому, кто в использовании настоящего выходит на уровень кича и с успехом истребляет всякое ощущение глубины пережитого. История при этом сводится к ежедневной регистрации событий. Она превращается в отбор, в реконструкцию, в образ одного из аспектов прошлого, увиденный сквозь призму настоящего и предназначенный для настоящего. Все остальное — домыслы, регресс, уход от реальности. Такая история не есть время, но его отрицание. Она не удовлетворяет потребности индивида в бегстве из загона настоящего. Идеологическое использование времени отменяет глубину истории и изгоняет идеал прогресса, который некогда был одной из доминирующих ценностей нового времени.

Замкнутость в настоящем произошла из-за того, что время заняло центральное место в культуре нового времени, и из-за прогрессирующего отрыва времени от реальности. Одновременно замкнутость является попыткой удовлетворить потребность человека в контроле над реальностью в ситуации возрастающей сложности, и кроме того, попыткой зафиксировать *status quo*, а следовательно, последним усилием модерна сохранить себя. Причиненные им изменения лишены какой-либо направленности и ценностных ориентиров, а потому само это усилие есть инструмент консервации. В самом деле, изменение и ограниченность настоящим пришли бы в противоречие, если бы изменение было реальным, а не простым инструментом распыления революционного

потенциала, накопленного в ego против детерминирующего влияния отжившего и против эмоционального дефицита qo-временной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Simmel G*, Metropoli e personalita // *Simmel G*. Citta e analisi socioiogia. Padova: Marsilio, 1968.

2. *Luhmann N*. The Future Cannot Begin: Temporal Structures in Modern Societies // *Social Research*. 1976. Vol.XLIII.

3. *Laccardi C* Il vussuto del tempo quotidiano come indicatore delle trasformazioni della concezione del tempo // *L'aporia del tempo*. Milano: F.Angeli, 1986.